

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

Убийство. Антон Павлович Чехов

I

На станции Прогонной служили всенощную. Перед большим образом, написанным ярко, на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того, ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун Благовещения. Служил старик священник из Веденяпина; пели псаломщик и Матвей Терехов.

Лицо Матвея сияло радостью, он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели «Архангельский глас», он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие.

Но вот всенощная окончилась, все тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает и ничего не слышно больше и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни.

Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюродного брата. Но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса:

– У нас на изразцовом заводе был свой хор. И должен я вам заметить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы по-настоящему, великолепно. Нас часто приглашали в город, и когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем: заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы «Андреево стояние» и «Похвалу» начинали в седьмом, а кончали после одиннадцати, так что, бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было! – вздохнул Матвей. – Очень даже хорошо, Сергей Никанорыч! А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в пяти верстах, при моем слабом здоровье и не дойдешь туда, певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия, день-деньской шум, брань, нечистота, все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами... Не дает бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никанорыч.

Матвей Терехов был еще не стар, лет 45, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах; и жидкая, прозрачная бородка совсем уже поседела, и это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно и, кашляя, брался за грудь, и в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит, но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался и как от этого образовалась грызь, заставившая его бросить службу на изразцовом заводе и вернуться на родину. А что значит грызь, объяснить он не мог.

– Признаться, не люблю я брата, – продолжал он, наливая себе чаю. – Он мне старший, грех осуждать, и боюсь господ бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный, для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братец, поедemте в Пахомово к обедне!» А он: «Не поеду, – там, говорит, поп картежник». И сюда не пошел сегодня, потому, говорит, веденяпинский священник курит и водку пьет. Не любит духовенства! Сам себе и обедницу служит, и часы, и вечерню, а сестрица ему вместо дьячка. Он: господу помолимся! А она тонким голосочком, как индюшка: господи помилуй!.. Грех, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» – а он без внимания.

Сергей Никанорыч, буфетчик, налил пять стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик:

– Как ты подаешь, поросычья морда? Ты не умеешь подавать!

Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бормотанье, потом опять

крик, сердитый и резкий:

– Пошел вон!

Буфетчик вернулся сильно сконфуженный.

– Было время, когда угождал и графам, и князьям, – проговорил он тихо, – а теперь, видите, не умею чай подать... Обругал при священнике и дамах!

Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первой классной станции, в губернском городе, где перекрещивались две дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы. Но дела у него шли плохо, он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись мало-помалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую; здесь от него ушла жена и увезла с собой всё серебро, и он перешел на третью станцию, похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую. Часто меняя места и спускаясь все ниже и ниже, он, наконец, попал на Прогонную и здесь торговал только чаем, дешевой водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыкантской. У него была лысина во всё темя, голубые глаза навкате и густые, пушистые бакены, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно, он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались, а, по его мнению, торговаться в буфете было так же неприлично, как в аптеке. Ему было стыдно своей бедности и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержанием его жизни.

– А весна в этом году поздняя, – сказал Матвей, прислушиваясь. – Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергей Никанорыч. В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что тут приятного? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтоб людей послушать, об леригии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное, а эти там соловьи да цветочки – бог с ними!

Он опять начал об изразцовом заводе, о хоре, но оскорбленный Сергей Никанорыч никак не мог успокоиться и всё пожимал плечами и бормотал что-то. Матвей простился и пошел домой.

Мороза не было, и уже таяло на крышах, но шел крупный снег; он быстро кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги. А дубовый лес, по обе стороны линии, едва освещенный луной, которая пряталась где-то высоко за облаками, издавал суровый, протяжный шум. Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны! Матвей шел по шоссе вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом, сани скребли по голым камням шоссе, и мужик с окутанной головой, тоже весь белый, хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто всё это ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись, сам не зная чего.

Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Шлагбаум поднят, и около намело целые горы, и, как ведьмы на шабаше, кружатся облака снега. Тут линию пересекает старая, когда-то большая дорога, которую до сих пор еще зовут трактом. Направо, недалеко от переезда, у самой дороги, стоит трактир Терехова, бывший постоянный двор. Тут по ночам всегда брезжит огонек.

Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его Яков Иваныч еще продолжал служить всенощную. В молельной, где это происходило, в переднем углу стоял киот со старинными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма, в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ Благовещения и тут же кипарисовый крест и кадильница; горели восковые свечи. Возле стола был аналой. Проходя мимо молельной, Матвей остановился и заглянул в дверь. Яков Иваныч в это время читал у аналая; с ним молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха в синем платье и белом платочке. Была тут и дочь Якова Иваныча, Дашутка; девушка лет 18, некрасивая, вся в веснушках, по обыкновению босая и в том же платье, в каком под вечер поила скотину.

– Слава тебе, показавшему нам свет! – провозгласил Яков Иваныч нараспев и низко

поклонился.

Аглая подперла рукой подбородок и запела тонким, визгливым, тягучим голосом. А вверху над потолком тоже раздавались какие-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. Во втором этаже после пожара, бывшего когда-то очень давно, никто не жил, окна были забиты тесом и на полу между балок валялись пустые бутылки. Теперь там стучал и гудел ветер и казалось, что кто-то бегал, спотыкаясь о балки.

Половина нижнего этажа была занята под трактир, в другой помещалась семья Терехова, так что когда в трактире шумели пьяные проезжие, то было слышно в комнатах всё до одного слова. Матвей жил рядом с кухней, в комнате с большою печью, где прежде, когда тут был постоянный двор, каждый день пекли хлеб. В этой же комнате, за печкой помещалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши.

Матвей зажег свечу и стал читать книгу, взятую им у станционного жандарма. Пока он сидел над ней, моление кончилось и все легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапела тотчас же, но скоро проснулась и сказала, зевая:

– Ты, дядя Матвей, зря бы свечку не жег.

– Это моя свечка, – ответил Матвей. – Я ее за свои деньги купил.

Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвей сидел еще долго – ему не хотелось спать – и, кончив последнюю страницу, достал из сундука карандаш и написал на книге: «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех читанных мною книг самую лутшею, в чем и приношу мою признательность унтер-офицеру жандармского управления железных дорог Кузьме Николаеву Жукову, как владельцу оной бесценной книги». Делать подобные надписи на чужих книгах он считал долгом вежливости.

II

В самый день Благовещения, после того, как проводили почтовый поезд, Матвей сидел в буфете, пил чай с лимоном и говорил.

Слушали его буфетчик и жандарм Жуков.

– Я, надо нам заметить, – рассказывал Матвей, – еще в малолетстве был привержен к леригии. Мне только двенадцать годочков было, а я уже в церкви апостола читал, и родители мои весьма утешались, и каждое лето мы с покойной маменькой ходили на богомолье. Бывало, другие ребята песни поют или раков ловят, а я в это время с маменькой. Старшие меня одобряли, да и мне самому было это приятно, что я такого хорошего поведения. И как маменька благословили меня на завод, то я между делом пел там тенором в нашем хоре, и не было лучшего удовольствия. Само собой, водки я не пил, табаку не курил, соблюдал чистоту телесную, а такое направление жизни, известно, не нравится врагу рода человеческого, и захотел он, окаянный, погубить меня и стал омрачать мой разум, всё равно, как теперь у брата. Самое первое, дал я обет не кушать по понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением времени нашла на меня фантазия. В первую неделю Великого поста до субботы святые отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не кушал. То же и в малые посты. Бывало, в Петровки наши заводские хлебают щи из судака, а я в стороночке от них сухарик сосу. У людей сила разная, конечно, но я об себе скажу: в постные дни мне не трудно было и так даже, что чем больше усердия, тем легче. Хочется кушать только в первые дни поста, а потом привыкаешь, становится всё легче и, гляди, в конце недели совсем ничего и в ногах этакое онемение, будто ты не на земле, а на облаке. И, кроме того, налагал я на себя всякие послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже. Только вот по прошествии времени исповедаюсь я однажды у священника и вдруг такое мечтание; ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я? Я даже постного масла остерегаюсь, а он, небось, осетрину ел. Пошел я к другому священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит будто дама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое сердце не спокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живут. И после этого

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

никак я не могу найти службу по себе: в одном месте служат очень скоро, в другом, гляди, задостойник не тот пропели, в третьем дьячок гугнивый... Бывало, господи прости меня грешного, стою это в церкви, а от гнева сердце трясется. Какая уж тут молитва? И представляется мне, будто народ в церкви не так крестится, не так слушает; на кого ни погляжу, все пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, один только я живу по заповедям. Лукавый бес не дремал, дальше-больше, перестал я петь в хоре и уж вовсе не хожу в церковь; так уж я об себе понимаю, будто я человек праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходит, то есть, подобно падшему ангелу, возмечтал я в гордыне своей до невероятия. После этого стал я хлопотать, как бы свою церковь устроить. Нанял я у глухой мещанки комнатку далеко за городом, около кладбища, и устроил молельную, вот как у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. В этой своей молельной я держался устава святой Афонской горы, то есть каждый день обязательно утреня у меня начиналась в полночь, а под особо чтимые двенадцатые праздники всенощная у меня служилась часов десять, а когда и двенадцать. Монахи все-таки, по уставу, во время кафизм и паремий сидят, а я желал быть угоднее монахов и всё, бывало, на ногах. Читал я и пел протяжно, со слезами и со вздыханием, воздевая руки, и прямо с молитвы, не спавши, на работу, да и работаю всё с молитвой. Ну, пошло по городу: Матвей святой, Матвей больных и безумных исцеляет. Никого я, конечно, не исцелял, но известно, как только заведется какой раскол и лжеучение, то от женского пола отбоя нет. Всё равно, как мухи на мед. Повадились ко мне разные бабки и старые девки, в ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее, а одна даже на моей голове сияние видела. Стало тесно в молельной, взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение, бес забрал меня окончательно и засланил свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели, и этак, долго не евши и не пивши, простоявши на ногах сутки или дольше, вдруг начинается с ними трясение, будто их лихорадка бьет, потом, этого, то одна крикнет, то другая – и этак страшно! Я тоже трясусь весь, как жид на сковородке, сам не знаю, по какой такой причине, и начинают наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потом, этого, крик, визг, все пляшем и друг за дружкой бегаем, бегаем до упаду. И таким образом, в диком беспамьятстве впал я в блуд.

Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал:

– Это молоканство. Я читал, на Кавказе все так.

– Но не убило меня громом, – продолжал Матвей, перекрестясь на образ и пошевелив губами. – Должно, молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину Осипу Варламышу прощаться – тогда прощенный день был, – а он этак запер на крючок дверь и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А должен я вам заметить, Осип Варламыш без образования, но дальнего ума человек, и все его почитали и боялись, потому был строгий, богоугодной жизни и труженик. Городским головой был и старостой лет, может, двадцать и много добра сделал; Ново-Московскую улицу всю покрыл гравелием, выкрасил собор и колонны расписал под малафтит. Ну, запер дверь и – «давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!..» И пошел, и пошел... Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и – как зарыдаю! «Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельная твоя от беса; всё, говорит, это гордость». На другой день, в чистый понедельник, привел меня бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы мне прямая дорога – в ад, и чуть не помер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыш домой и наставлял: «Помни же, Матвей, что сверх обыкновения, то от беса». И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все.. Ежели теперь, случается, от батюшки пахнет табаком или винцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь и я,

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
как Осип Варламыч, все наставляю братца и сестрицу и укоряю их, но выходит глас вопиющего в пустыне. Не дал мне бог дара.

Рассказ Матвея, по-видимому, не произвел никакого впечатления. Сергей Никанорыч ничего не сказал и стал убирать с прилавка закуску, а жандарм заговорил о том, как богат брат Матвея, Яков Иваныч.

– У него тысяч тридцать, по крайней мере, – сказал он.

Жандарм Жуков, рыжий, полнолицый (когда он ходил, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старших, сидел развалясь и положив ногу на ногу; разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал, и в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством, и когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему.

– Да, тридцать тысяч будет, пожалуй, – согласился Сергей Никанорыч. – У вашего дедушки было огромное состояние, – сказал он, обращаясь к Матвею. – Огромное! Всё потом осталось вашему отцу и вашему дяде. Ваш отец помер в молодых летах, и после него всё забрал дядя, а потом, значит, Яков Иваныч. Пока вы с маменькой на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали.

– На вашу долю приходится тысяч пятнадцать, – сказал жандарм, покачиваясь. – Трактир у нас общий, значит, и капитал общий. Да. На вашем месте я давно бы подал в суд. Я бы в суд подал само собой, а пока дело, один на один всю бы рожу ему до крови...

Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь верует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи.

– Вам не охота судиться с братом, потому что у нас своих денег много, – сказал буфетчик Матвею, глядя на него с завистью. – Хорошо тому, у кого есть средства, а вот я, должно быть, так и умру в этом положении...

Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег, но Сергей Никанорыч уже не слушал; воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый день, нахлынули на него; лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами.

– Жизнь проклятая! – сказал он с досадой и ударил колбасой о пол.

III

Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Александре I какую-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном; называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто, бывало, проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники; и всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лошадей. Останавливались здесь неохотно, так как хозяева всегда были неласковы и брали с проезжих очень дорого. Во дворе было грязно даже летом; здесь в грязи лежали громадные, жирные свиньи и бродили без привязи лошади, которыми барышничали Тереховы, и случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и, как бешеные, носились по дороге, пугая странниц. В то время здесь было большое движение; проходили длинные обозы с товарами, и бывали тут разные случаи, вроде того, например, как лет 30 назад обозчики, рассердившись, затеяли драку и убили проезжего купца, и в полуверсте от двора до сих пор еще стоит погнувшийся крест; проезжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дормезы, с ревом и в облаках пыли проходили гурты рогатого скота.

Когда провели железную дорогу, то в первое время на этом месте был только полустанок, который назывался просто разъездом, потом же лет через десять построили теперешнюю Прогонную. Движение по старой почтовой дороге почти прекратилось, и по ней уже ездили только местные помещики и мужики, да весной и осенью проходили толпами рабочие. Постоялый двор превратился в трактир; верхний этаж обгорел, крыша стала желтой от ржавчины, навес мало-помалу обвалился, но на дворе в грязи всё еще валялись громадные, жирные свиньи, розовые,

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

отвратительные. По-прежнему иногда со двора выбегали лошади и бешено, задрав хвосты, носились по дороге. В трактире торговали чаем, сеном, мукой, а также водкой и пивом, распивочно и на вынос; спиртные напитки продавали с опаской, так как патента никогда не брали.

Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище – Богомолы. Но, быть может, оттого, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаньям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоянный двор, была старой веры, ее же сын и оба внука (отцы Матвея и Якова) ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образом молились с таким же благоговением, как старым; сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор, а у внуков была та особенность, что они понимали писание не просто, а всё искали в нем (крытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаньями и едва не погиб, другой правнук, Яков Иванович, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не ходила в церковь и Дашутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто в молодых летах она хаживала в Веденяпино к хлыстам и что втайне она еще продолжает быть хлыстовкой, а потому-де ходит в белом платочке.

Яков Иванович был старше Матвея на десять лет. Это был очень красивый старик, высокого роста, с широкою седою бородой, почти до пояса, и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Носил он длинную поддевку из хорошего сукна или черный романовский полушубок и вообще старался одеваться чисто и прилично; калоши носил даже в сухую погоду. В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, в церкви не точно исполняли устав, и потому, что священники пили вино в непоказанное время и курили табак. Дома у себя он каждый день читал и пел вместе с Аглаей. В Веденяпине в заутрени вовсе не читали канона и вечерни не служили даже в большие праздники, он же у себя дома прочитывал всё, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь, а в свободное время читал вслух жития. И в обыденной жизни он строго держался устава; так, если в Великом посту в какой-нибудь день разрешалось, по уставу, вино «ради труда бденного», то он непременно пил вино, даже если не хотелось.

Он читал, пел, кадил и постился не для того, чтобы получить от бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значит и молиться так, как угодно богу, и поэтому каждый день следует читать и петь только то, что угодно богу, то есть что полагается по уставу; так, первую главу от Иоанна нужно читать только в день Пасхи, а от Пасхи до Вознесения нельзя петь «Достойно есть» и проч. Создание этого порядка и его важности доставляло Якову Ивановичу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, например, уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть и он чувствовал себя несчастным.

Брат Матвей, приехавший неожиданно из завода и поселившийся в трактире, как дома, с первых же дней стал нарушать порядок. Он не хотел молиться вместе, ел и пил чай не вовремя, поздно вставал, в среды и пятницы пил молоко, будто бы по слабости здоровья; почти каждый день во время молитвы он входил в молельную и кричал: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» От этих слов Якова Ивановича бросало в жар, а Аглая, не выдержав, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и говорил тихо: «Братец, ваша молитва не угодна богу. Потому что сказано: прежде смиришь с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете. Покайтесь!»

В словах Матвея Яков видел лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и проч. для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым.

А всё же он был взволнован и уже не мог молиться, как прежде. Едва он входил в

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

молельную и раскрывал книгу, как уже начинал бояться, что вот-вот войдет брат и помешает ему; и в самом деле, Матвей появился скоро и кричал дрожащим голосом: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» Сестра бранилась, и Яков тоже выходил из себя и кричал: «Пошел вон из моего дома!» А тот ему: «Этот дом наш общий».

Начинал Яков снова читать и петь, но уже не мог успокоиться и, сам того не замечая, вдруг задумывался над книгой; хотя слова брата считал он пустяками, но почему-то и ему в последнее время тоже стало приходиться на память, что богатому трудно войти в царство небесное, что в третьем году он купил очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойнице жене однажды какой-то пьяница умер у него в трактире от водки...

По ночам он спал теперь нехорошо, чутко, и ему слышно было, как Матвей тоже не спал и всё вздыхал, скучая по своему изразцовому заводу. И Якову ночью, пока он ворочался с боку на бок, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельские слова о верблюде.

Похоже было на то, как будто у него опять начинались мечтания. А как нарочно, каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег и лес шумел по-зимнему, и не верилось, что весна настанет когда-нибудь. Погода располагала и к скуке, и к ссорам, и к ненависти, а ночью, когда ветер гудел над потолком, казалось, что кто-то жил там наверху, в пустом этаже, мечтания мало-помалу наваливали на ум, голова горела и не хотелось спать.

IV

Утром в Страстной понедельник Матвей слышал из своей комнаты, как Дашутка сказала Аглае:

– Дядя Матвей говорил надясь, поститься, говорил, не надо.

Матвей припомнил весь разговор, какой у него был накануне с Дашуткой, и ему вдруг стало обидно.

– Девушка, не грехи! – сказал он стонущим голосом, как больной. – Без постов нельзя, сам господь наш постился сорок дней. А только я тебе объяснял, что худому человеку и пост не в пользу.

– А ты только послушай заводских, они научат добру, – проговорила насмешливо Аглая, моя пол (в будни она обыкновенно мыла полы и при этом сердилась на всех). – На заводе известно какой пост. Ты вот спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, как он с ней, с гадюкой, в постные дни молоко трескал. Других-то он учит, а сам забыл про гадюку. А спроси; кому он деньги оставил, кому?

Матвей тщательно, как неопрытанную рану, скрывал ото всех, что в тот самый период своей жизни, когда во время молитв с ним вместе прыгали и бегали старухи и девки, он вступил в связь с одной мещанкой и имел от нее ребенка. Уезжая домой, он отдал этой женщине всё, что скопил на заводе, а для себя на проезд взял у хозяина, и теперь у него было всего несколько рублей, которые он тратил на чай и свечи. «Душенька» потом извещала его, что ребенок умер, и спрашивала в письме, как поступить с деньгами. Это письмо принес со станции работник, Аглая перехватила и прочла, и потом каждый день попрекала Матвея «душенькой».

– Шутка, девятьсот рублей! – продолжала Аглая. – Отдал девятьсот рублей чужой гадюке, заводской кобыле, чтоб ты лопнул! – Она уже разошлась и кричала визгливо: – Молчишь? Я б тебя разорвала, лядаций! Девятьсот рублей, как копеечка! Ты бы под Дашутку подписал – своя, не чужая, – а то послал бы в Белев Марьиным сиротам несчастным. И не подавилась твоя гадюка, будь она трижды анафема проклята, дьяволица, чтоб ей светлого дня не дожидаться!

Яков Иваныч окликнул ее; было уже время начинать часы. Она умылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, в молельной же лицо у нее было чистое, умиленное, сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.

Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в Великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие; он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг послышались голоса. К Матвею пришли в гости жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние, и теперь, услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молельной было слышно, как буфетчик говорил:

– Татарин в Щепове сдает свое дело за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсот, а на остальные вексель. Так вот, Матвей Васильич, будьте столь благонадежны, одолжите мне эти пятьсот рублей. Я вам два процента в месяц.

– Какие у меня деньги! – изумился Матвей. – Какие у меня деньги!

– Два процента в месяц, это для вас как с неба, – объяснял жандарм. – А лежавши у вас, ваши деньги только моль ест и больше никакого результата.

Потом гости ушли, и наступило молчание. Но едва Яков Иваныч начал опять читать вслух и петь, как из-за двери послышался голос:

– Братец, позвольте мне лошади в Веденяпино съездить!

Это был Матвей. И у Якова на душе стало опять непокойно.

– На чем же вы поедете? – спросил он, подумав. – На гнедом работник свинью повез, а на жеребчике я сам поеду в Шутейкино, вот как кончу.

– Братец, почему это вы можете распоряжаться лошадьми, а я нет? – спросил с раздражением Матвей.

– Потому что я не гулять, а по делу.

– Имущество у нас общее, значит, и лошади общие, и вы это должны понимать, братец.

Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.

– Братец, – говорил Матвей, – я человек больной, не хочу я имения, бог с ним, владейте, но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.

Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем, но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле; да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились; делиться – разориться.

Яков молчал и всё ждал, когда уйдет Матвей, и всё смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать, но уже удовольствия не было, от земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и било скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял ею тем, что не было сна, днем же это его пугало и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы.

Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около Прогонной межевую канаву и прохарчили в трактире 18 рублей, и теперь нужно было заставить в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и местами уже проваливалась; снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать, как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сырой ветер...

Навстречу ехал длинный обоз: бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги; лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так всё время, пока мимо него медленно подвигался обоз; он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади и как бабы говорили про него: «Богомоллов едет», – а одна, поглядев с жалостью на его лошадь, сказала быстро:

– Похоже, снег до Егория пролежит. Замучились!

Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра, а перед ним всё мелькали то лошади, то красный кирпич. И, быть может, оттого, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно, и дело, по которому он теперь ехал, показалось ему неважным, и он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда и затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление оттого, что он торговец, ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка и стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике, и казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля... Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспоминал, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили мечтания и колебалась вера.

Ему было жутко оставаться одному в поле; он повернул назад и тихо поехал за обозом, а бабы смеялись и говорили:

– Богомоллов вернулся.

Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длинным. Яков Иваныч давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и два дня принимался читать псалтирь, а до вечера всё еще было далеко. Аглая вымыла уже все полы, и, от нечего делать, убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок. Матвей, голодный и грустный, сидел и читал или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод. Дашутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за ним по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: «Там глыбья!» Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор, но работник не понимал ее, и, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбранил ее нехорошими словами. Яков Иваныч, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длинной, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.

– Что ты, срамница? – крикнул он ей и даже испугался. – Какие это ты слова?

А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов. Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такою дикою, темною, и в первый раз за всё время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такою же дикою и темной, как эта девушка, и, вместо того, чтобы читать ей наставление, он только махнул рукой и вернулся в комнату.

В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч вспомнил, что у этих людей тоже нет никакой веры и что это их нисколько не беспокоит, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки; он без шапки прошелся по двору, потом вышел на дорогу и ходил, сжав кулаки, – в это время пошел снег хлопьями, – борода у него развевалась по ветру, он всё встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы, и ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех...

У

Когда он вернулся в дом, жандарма уже не было, и буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день, бывал в трактире; прежде ходил к Якову Иванычу, а в последнее время к Матвею. Он всё считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело, или просил денег, или, разглаживая бакены, рассказывал о том, как когда-то на первой классной станции он приготовлял для офицеров крюшон и на парадных обедах сам разливал стерляжьё уху. На этом свете его ничто не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:

– Грудь матери, это – буфет для младенца.

Считая на счетах в комнате Матвея, он просил денег, говорил, что на Прогонной ему уже нельзя жить, и несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать:

– Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?

Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню; он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения, громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! господи, спаси!» – и один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и всё встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет и чувствовал против чего злобу, которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную.

– Грех, какой грех! – сказал он укоризненно и вздохнул. – Покайтесь! Опомнитесь, братец!

Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол, тяжело ступая, так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своею верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? А, может быть, всё это только смущает бес и ничего этого не нужно?.. Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать, но то, что близко находился Матвей, мешало ему спокойно соображать. И он быстро пошел в комнаты.

Матвей сидел в кухне перед чашкой с картофелем и ел. Тут же около печи сидели друг против друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столом, за которым сидел Матвей, была протянута гладильная доска; на ней стоял холодный утюг.

– Сестрина, – попросил Матвей, – позвольте мне маслица!

– Кто же в такой день масло ест? – спросила Аглая.

– Я, сестрица, не монах, а мирянин. А по слабости здоровья мне не то что масло, даже молоко можно.

– Да, у вас на заводе всё можно.

Аглая достала с полки бутылку с постным маслом и поставила ее перед Матвеем, сердито стукнув, с злорадною улыбкой, очевидно, довольная, что он такой грешник.

– А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! – крикнул Яков.

Аглая и Дашутка вздрогнули, а Матвей, точно не слышал, налил себе масла в чашку и продолжал есть.

– А я тебе говорю, ты не можешь есть масло! – крикнул Яков еще громче, покраснел весь и вдруг схватил чашку, поднял ее выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели черепки. – Не смей говорить! – крикнул он неистовым голосом, хотя Матвей не сказал ни слова. – Не смей! – повторил он и ударил кулаком по столу.

Матвей побледнел и встал.

– Братец! – сказал он, продолжая жевать. – Братец, опомнитесь!

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Вон из моего дома сию минуту! – крикнул Яков; ему были противны морщинистое лицо Матвея, и его голос, и крошки на усах, и то, что он жует, – Вон, тебе говорят!

– Братец, уймитесь! Вас обуяла гордость бесовская!

– Молчи! (Яков застучал ногами.) Уходи, дьявол!

– Вы, ежели желаете знать, – продолжал Матвей громко, тоже начиная сердиться, – вы богоотступник и еретик. Бесы окаянные заслонили от вас истинный свет, ваша молитва не угодна богу. Покайтесь, пока не поздно! Смерть грешника люта! Покайтесь, братец!

Яков взял его за плечи и потащил из-за стола, а он еще больше побледнел и, испугавшись, смутившись, забормотал: «Что ж оно такое? Что ж оно такое?» – и, упираясь, делая усилия, чтобы высвободиться из рук Якова, нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвал воротник, а Аглае показалось, что это он хочет бить Якова, она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ею ненавистного брата прямо по темени. Матвей пошатнулся, и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным; Яков, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствие оттого, что бутылка, ударившись о голову, крякнула, как живая, не давал ему упасть и несколько раз (это он помнил очень хорошо) указал Аглае пальцем на утюг, и только когда полилась по его рукам кровь и послышался громкий плач Дашутки, и когда с шумом упала гладильная доска и на нее грузно повалился Матвей, Яков перестал чувствовать злобу и понял, что произошло.

– Пусть издыхает, заводский жеребец! – с отвращением проговорила Аглая, не выпуская из рук утюга; белый, забрызганный кровью платочек сполз у нее на плечи, и седые волосы распустились. – Туда ему и дорога!

Всё было страшно. Дашутка сидела на полу около печки с нитками в руках, всхлипывала и всё кланялась, произнося с каждым поклоном: «гам! гам!» Но ничто не было так страшно для Якова, как вареный картофель в крови, на который он боялся наступить, и было еще нечто страшное, что угнетало его, как тяжкий сон, и казалось самым опасным и чего он никак не мог понять в первую минуту. Это был буфетчик Сергей Никанорыч, который стоял на пороге со счетами в руках, очень бледный, и с ужасом смотрел на то, что происходило в кухне. Только когда он повернулся и быстро пошел в сени, а оттуда наружу, Яков понял, кто это, и пошел за ним.

Вытирая на ходу руки о снег, он думал. Промелькнула мысль о том, что работник отпросился ночевать к себе в деревню и ушел уже давно; вчера резали свинью, и громадные кровавые пятна были на снегу, на саях и даже одна сторона колодезного сруба была обрызгана кровью, так что если бы теперь вся семья Якова была в крови, то это не могло бы показаться подозрительным. Скрывать убийство было бы мучительно, но то, что явится со станции жандарм, который будет посвистывать и насмешливо улыбаться, придут мужики и крепко свяжут руки Якову и Аглае и с торжеством поведут их в волость, а оттуда в город, и дорогой все будут указывать на них и весело говорить: «Богомолых ведут!» – это представлялось Якову мучительнее всего, и хотелось протянуть как-нибудь время, чтобы пережить этот срам не теперь, а когда-нибудь после.

– Я вам могу одолжить тысячу рублей... – сказал он, догнав Сергея Никанорыча. – Если вы кому скажете, то от этого никакой пользы... а человека все равно не воскресить, – и, едва поспевая за буфетчиком, который не оглядывался и старался идти всё скорее, он продолжал: – И полторы тысячи могу дать...

Он остановился, потому что запыхался, а Сергей Никанорыч пошел дальше всё так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он мельком оглянулся и пошел тише. На станции и по линии уже горели огни, красные и зеленые; ветер утих, но снег всё еще сыпался хлопьями и дорога опять побелела. Но вот почти около самой станции Сергей Никанорыч остановился, подумал минуту и решительно пошел назад. Становилось темно. – Пожалуйте полторы тысячи, Яков Иваныч, – сказал он тихо, дрожа всем телом. – Я согласен.

VI

Деньги Якова Иваныча лежали в городском банке и были розданы под вторые

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

закладные; дома у себя он держал немного, только то, что нужно было для оборота. Войдя в кухню, он нащупал жестянку со спичками и, пока синим огнем горела сера, успел разглядеть Матвея, который лежал по-прежнему на полу около стола, но уже был накрыт белой простыней, и были видны только его сапоги. Кричал сверчок. Аглаи и Дашутки не было в комнатах: обе они сидели в чайной за прилавком и молча мотали нитки. Яков Иваныч с лампочкой прошел к себе в комнату и вытащил из-под кровати сундучок, в котором держал расхожие деньги. В этот раз набралось всего четыреста двадцать одними мелкими бумажками и серебра на тридцать пять рублей; от бумажек шел нехороший, тяжелый дух. Забрав деньги в шапку, Яков Иваныч вышел на двор, потом за ворота. Он шел и глядел по сторонам, но буфетчика не было.

– Гоп! – крикнул Яков.

У самого переезда от шлагбаума отделилась темная фигура и нерешительно пошла к нему.

– Что вы всё ходите и ходите? – проговорил Яков с досадой, узнав буфетчика. – Вот вам: тут немного не хватило до пятисот... Дома нет больше.

– Хорошо... Очень вам благодарен, – бормотал Сергей Никанорыч, хватая деньги с жадностью и запихивая их в карманы; он весь дрожал, и это было заметно, несмотря на потемки. – А вы, Яков Иваныч, будьте покойны... К чему мне болтать? Мое дело такое, я был да ушел. Как говорится, знать ничего не знаю, ведать не ведаю... – и тут же добавил со вздохом: – Жизнь проклятая!

Минуту стояли молча, не глядя друг на друга.

– Так это у вас, из пустяков, бог его знает как... – сказал буфетчик, дрожа. – Сижу я, считаю себе и вдруг шум... Гляжу в дверь, а вы из-за постного масла... Где он теперь?

– Лежит там в кухне.

– Вы бы его свезли куда... Что ждать?

Яков проводил его до станции молча, потом вернулся домой и запряг лошадь, чтобы везти Матвея в Лимарово. Он решил, что свезет его в Лимаровский лес и оставит там на дороге, а потом будет говорить всем, что Матвей ушел в Веденяпино и не возвращался, и все тогда подумают, что его убили прохожие. Он знал, что этим никого не обманешь, но двигаться, делать что-нибудь, хлопотать было не так мучительно, как сидеть и ждать. Он кликнул Дашутку и вместе с ней повез Матвея. А Аглая осталась убирать в кухне.

Когда Яков и Дашутка возвращались назад, их задержал у переезда опущенный шлагбаум. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из поддувал снопы багрового огня. На переезде в виду станции передний локомотив издал пронзительный свист.

– Свистить... – проговорила Дашутка.

Поезд, наконец, прошел, и сторож не спеша поднял шлагбаум.

– Это ты, Яков Иваныч? – сказал он. – Не узнал, богатым быть.

А потом, когда приехали домой, надо было спать. Аглая и Дашутка легли рядом, постлавши себе в чайной на полу, а Яков расположился на прилавке. Перед тем, как ложиться, богу не молились и лампад не зажигали. Все трое не спали до самого утра, но не промолвили ни одного слова, и казалось им всю ночь, что наверху в пустом этаже кто-то ходит.

Через два дня приехали из города становой пристав и следователь и сделали обыск сначала в комнате Матвея, потом во всем трактире. Допрашивали прежде всего Якова, и он показал, что Матвей в понедельник под вечер ушел в Веденяпино говеть и что, должно быть, дорогой его убили пильщики, работающие теперь по линии. А когда следователь спросил его, почему же так случилось, что Матвея нашли на дороге, а шапка его оказалась дома, – разве он пошел в Веденяпино без шапки? И почему около него на дороге на снегу не нашли ни одной капли крови, в то время как голова у него была проломлена и лицо и грудь были черны от крови, Яков

смутился, растерялся и ответил:

– Не могу знать.

И произошло именно то, чего так боялся Яков: приходил жандарм, урядник курил в молельной, и Аглая набросилась на него с бранью и нагрубилась становому приставу, и когда потом Якова и Аглаю вели со двора, у ворот толпились мужики и говорили: «Богомолова ведут!» – и казалось, все были рады.

Жандарм на допросе показал прямо, что Матвея убили Яков и Аглая, чтобы не делиться с ним, и что у Матвея были свои деньги, и если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая. И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвей и тетка Аглая каждый день бранились и чуть не дрались из-за денег, а дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил девятьсот рублей.

Дашутка осталась в трактире одна; никто уж не приходил пить чай и водку, и она то убирала в комнатах, то пила мед и ела баранки; но через несколько дней допрашивали сторожа на переезде, и он сказал, что в понедельник поздно вечером видел, как Яков ехал с Дашуткой из Лимарова. Дашутку тоже арестовали, повели в город и посадили в острог. Вскорости, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч; у него сделали обыск и нашли деньги в необычном месте, в валенке под печкой, и деньги всё были мелкие, одних рублевых бумажек было триста. Он божился, что эти деньги он наторговал и что в трактире он не был уже более года, а свидетели показали, что он был беден и в последнее время сильно нуждался в деньгах и ходил в трактир каждый день, чтобы взять у Матвея займы, и жандарм рассказал, как в день убийства сам он два раза ходил с буфетчиком в трактир, чтобы помочь ему сделать заем. Вспомнили кстати, что в понедельник вечером Сергей Никанорыч не выходил к товаро-пассажирскому поезду, а уходил куда-то. И его тоже арестовали и отправили в город.

Через одиннадцать месяцев был суд.

Яков Иваныч сильно постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной. Он чувствовал себя слабым, жалким, ниже всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не покидали его и в тюрьме, душа его так же постарела и отошала, как тело. Когда зашла речь о том, что он не ходит в церковь, председатель спросил его:

– Вы раскольник?

– Не могу знать, – ответил он.

Он не имел уже никакой веры, ничего не знал и не понимал, а прежняя вера была ему теперь противна и казалась неразумной, темной. Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойного Матвея, обвиняя его во всех несчастиях. У Сергея Никанорыча на месте бакенов выросла борода; на суде он потел, краснел и, видимо, стыдился серого халата и того, что его посадили на одну скамью с простыми мужиками. Он неловко оправдывался и, желая доказать, что в трактире он не был целый год, вступал в спор с каждым свидетелем, и публика смеялась над ним. Дашутка, пока была в тюрьме, пополнела; на суде она не понимала вопросов, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвея убивали, то она очень испугалась, а потом ничего.

Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстной целью. Яков Иваныч был приговорен к каторжным работам на двадцать лет, Аглая – на тринадцать с половиной, Сергей Никанорыч – на десять, Дашутка – на шесть.

VII

На Дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход и потребовал угля. Просили командира подождать до утра, но он не пожелал ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то он рискует уйти без угля. В Татарском проливе погода может резко измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда сахалинские берега становятся опасны. А уже свежело и разводило порядочную волну.

Из Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнажи в рудник партию арестантов. Предстояло нагружать углем баржи, затем

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

тащить их на буксире парового катера к борту парохода, который стоял более чем в полуверсте от берега, и там должна была начаться перегрузка – мучительная работа, когда баржу бьет о пароход и рабочие едва держатся на ногах от морской болезни. Каторжные, только что поднятые с постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук: «а... а... а... а...», и только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и два-три ближайших арестанта с грубыми лицами, или когда он подходил с фонарем близко к воде, то можно было разглядеть белые гребни передних волн.

В этой партии находился Яков Иваныч, прозванный на каторге Веником за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величал, а звали просто Яшкой. Был он здесь на плохом счету, так как месяца через три по прибытии на каторгу, чувствуя сильную, непобедимую тоску по родине, он поддавался искушению и бежал, а его скоро поймали, присудили к бессрочной каторге и дали ему сорок плетей; потом его еще два раза наказывали розгами за растрату казенного платья, хотя это платье в оба раза было у него украдено. Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу и арестантский поезд остановился ночью на Прогонной, и Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел впотьмах.

Не с кем было поговорить о родной стороне. Сестру Аглаю отправили на каторгу через Сибирь, и было неизвестно, где она теперь. Дашутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительницы, в дальнее селение; слухов о ней не было никаких, и раз только один поселенец, попавший в Воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто Дашутка имела уже троих детей. Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника тут же недалеко, в Дуэ, но нельзя было рассчитывать повидаться с ним когда-нибудь, так как он стыдился знакомства с каторжными из простого звания.

Партия пришла в рудник и расположилась на пристани. Говорили, что на грузки не будет, так как погода всё портится и пароход будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Один из них двигался: это паровой катер ходил к пароходу и теперь, кажется; уже возвращался, чтобы сообщить, будет работа или нет. Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий, рванный полушубок, Яков Иваныч пристально, не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, – с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагледелся на их страдания, он опять стал возноситься к богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Всё уже он знал и понимал, где бог и как должно ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, Прогонную, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он всё смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от гибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день.

Катер пришел, и надзиратель объявил громко, что на грузки не будет.

– Назад! – скомандовал он. – Смирно!

Было слышно, как на пароходе убирали якорную цепь. Дул уже сильный, пронзительный ветер, и где-то вверху на крутом берегу скрипели деревья. Вероятно, начинался шторм.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

Убийство. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!